

ФЕДОР АБРАМОВ

**ДОМ**

*Роман*

*(фрагменты)*

Часть первая

Глава первая

1

Пес лежал в воротах сарая – передние лапы вытянуты, уши торчком и глаза – угли раскаленные: так и сверлят, так и буравят баранью тушку, над которой в глубине сарая хлопотал хозяин.

Спина и шея у Михаила взмокли: нет ничего хуже обдирать созревшее межножье да седловину. Кожа тут прикипела намертво, каждый сантиметр прорезать надо. А кроме того, мухи, оводы окаянные – поедом едят, глаза слепят. Зато уж когда все это прошел да миновал подбрюшье – одно удовольствие: нож в балку над головой и давай-давай орудовать одними руками...

Снятую, вывернутую наизнанку овчину – ни единого пореза, блеск работа – он собрал в большой, расплзающийся под руками ком, отложил в сторону, затем, неторопливо поворачивая подвешенного на распялке барана, хозяйским, оценивающим взглядом обвел его тугие, белые от сала бока.

– А барька-то ничего, а?

Не жена ответила – пес клацнул голодными зубами.

Он вырубил хвост, не глядя бросил Лыску и опять залюбовался забитой животинной.

– Баран-то, говорю, подходящий. Чуешь?

– До осени подождет бы, еще подходящей был.

– До осени! Может, еще до зимы, скажешь?

– Да как! Кто это под нож скотину в такую жару пускает?

– А братья приедут, чего на стол подашь? Банки?

Закипая злостью, Михаил одним взмахом ножа – сверху донизу – распустил брюшину. Горячие, дымящиеся внутренности лавой хлынули на свежую, вновь подостланную солому.

– Воды!

За стеной тяжело, всей коровьей утробой вздохнула Звездоня – замаялась, бедная, от жары, – взвизгнул нетерпеливо Лыско. А хозяйка, его помощница?

Михаил круто повел потной головой и вдруг размяк, разъехался в улыбке: белые подколенки жены, склонившейся над ведром, увидел.

Загоревшийся глаз сам собою зашарил по затемненным закрайкам сарая и уперся в дальний угол, заваленный травой. Травка мяконькая, свеженькая – час какой назад в огороде накопил...

– Куда лить-то? Чего молчишь?

– Погоди маленько... Перекур надо...

– Перекур? Это барана-то с перекуром резать?

– А чего? Передохнуть завсегда полезно... – Михаил хохотнул и остальное досказал взглядом.

Раиса попятилась к двери, за которой томилась корова, с неподдельным ужасом замахала обеими руками:

– Ты в эту Москву съездил... рехнулся...

– Дура пекашинская! С тобой и пошутить нельзя!

Михаил забегал, заметался по сараю, наткнулся на пса и со всего маху закатил пинок: не лезь на глаза, когда не просят!

## 2

Круто забирал июль.

Мясо, пока рубил да солил, кое-где прихватило жаром. Но еще больше удивил Михаила погреб. Весной снег набивал – ступой толлок да утрамбовывал, и вот за какой-то месяц сел на добрый метр, как что, когда он стал опускать баранину на холод, пришлось ставить лесенку.

На улице Михаил разделся до пояса, с наслаждением поплескался водой из ушата (не нагрелась еще, в тени стояла), затем, войдя в кухню, переделся. Рабочие парусиновые штаны, измазанные свежей кровью, вынес в кладовку и, натягивая на себя домашние брючонки, легкие, вьетнамского подела, довольно улыбнулся: месяца не гулял в столице, а поправился – насилу застегнул верхнюю пуговицу.

Дрова в печи уже прогорели, малиновые отсветы полыхали в окне напротив, но где хозяйка? Собирается она варить-печь? Для мух выставила на стол печенье и почки?

Михаил заглянул на одну половину – на всю катушку радио, заглянул на другую, и у него дыбом встала кровь: Раиса давила кровать.

– Это еще что за новая мода – с утра на вылежке?

Взвыли, стоном простонали пружины – Раиса рывком отвернулась к стене: разговаривать с тобой не хочу.

Он не стал больше сорить словами. Подошел, сгреб жену за кофту на груди, повернул к себе.

Холодом, стужей крещенской дохнуло на него от серых немигающих глаз. А ведь было время – лето жило в этих глазах. Круглый год, всю зиму. И, помнится, покойный Федор Капитонович, провожая их в день свадьбы, так и сказал: «Не дочь – лето ты уводишь из моего дома».

Нелады у них, конечно, бывали и раньше – как всю жизнь проживешь гладко? – но чтобы сиверко задул на месяцы – нет, этого еще не бывало.

Он знал, из-за чего взбесилась его благоверная. Из-за Варвары, а точнее сказать, из-за столбика, который он поставил весной на ее могиле. Забыта могила, Дунярка, Варварина наследница, каждое лето приезжает в Пекашино, по два, по три месяца живет в теткинском доме со своим выводком (девятирх отгрохала, рекорд по сельсовету держит), а чтобы осиротевшую могилу кое-как оприютить – нет, подожди, тетушка, поважнее дела есть. И вот он ждал-ждал, когда племянница о покойнице вспомнит (самый захудалый столбик на всем кладбище), да и не выдержал: весной, когда Раиса как-то уехала в район в больницу, и поставил пирамидку. Узнала. Кто-то брякнул из дорогих землячков.

– Мясо-то, говорю, само в печь залезет, але соседей позвать?

– Отстань! Видеть не могу я это мясо, а не то что варить.

– Больно заелась, вот что. Старики-то не зря, видно, посты ране устраивали.

Раиса – не сразу – сказала:

– Может, мне в больницу, в район съездить?

– Тебе в больницу? Зачем?

– Зачем, зачем... Зачем бабы в больницу ездят...

Какое-то время он озадаченно, выпучив глаза, смотрел на раздобревшую, вошедшую в полную бабью силу жену – какая еще ей больница? – и вдруг все понял.

– Дак это ты... – Дух захватило у него от радости. – Давай, давай! Солдаты надоть. За мир будем бороться.

– Весело, ох, как весело! Только зубы и скалить. Девки обе невесты, а мать с брюшиной переваливается. Что о нас подумают?

– А это уж ихнее дело! Пушай что хотят, то и думают, – отчета давать не собираюсь. Сказано тебе было: до тех пор рожать будешь, покамест парня не родишь. И нечего бочку взад-вперед перекачивать.

Больше Раиса не перечила. Но, вставая с кровати, все-таки кусанула:

– Парни-то ноне тоже не золото. Не дай бог как ваш Федор, по тюрьмам смалу пошел.

– Ладно! Хозяйка! Гости приедут, а у тебя и на стол подать нечего.

– Што, я ведь не спала, не гуляла. Рабочий человек...

И это камешек в его огород. Тебе ли, мол, укорять меня? Целый месяц по городам шатался, бездельничал, а я-то всю жизнь без передышки на маслозаводе ломлю. И где-то в глубине души признавая правоту жены, Михаил примирительно сказал:

– Гостей, думаю, звать не будем. Разве что Калину Ивановича... – Он помолчал немного, хрустнул пальцами. – А с той как будем? Сразу сказать але как?

– Папа, папа, автобус не в час, а в два будет! – В спальню, вся запыхавшись, влетела Анка, худущая, длинноногая и зеленые глаза навывкате, как у козы.

– Ты бы не автобус караулила, а за землянкой сбегала. Чем дядей-то угощать будешь?

– Сбегаю. А тебе в контору велели.

– Кто? Управляющий?

– Ага. Пушай, говорит, отец сейчас же идет, к сену ехать надо.

– К сену... Он, поди, опять хочет запереть меня на Верхнюю Синельгу. Дудки! Я тридцать лет комаров кормил на этой Верхней Синельге, а теперь пушай другие покормят.

Михаил перевел взгляд на Раису, расчесывавшую волосы перед зеркалом.

Как в чащобу, как в бурелом вламывалась гребнем – треск стоял в комнате, вот такая грива у сорокалетней бабы!

Расчесала, завила в тугой узел на затылке, накрепко зашпилила.

Тут у ей сидит главная-то злость, гроза-то, подумал Михаил и спросил:

– Дак как, говорю, будем с той? Чего удила закусила? Сестра ведь – первый спрос у братьев об ней будет.

Раиса – дурь нашла – так и вышла из спальни, не сказав ни слова.

### 3

До прихода почтового автобуса оставалось часа полтора, не меньше, и что было делать, за что взяться? Расколоть дрова, напиленные еще до поездки в Москву, отметить навоз у коровы, грабли, косы достать с подволоки да хоть пыль с них стереть, обручи на разохшейся кадке набить... Уйма всяких дел скопилась по дому!

Михаил отправился под угор, на свой покос. Вот о чем надо было позаботиться в первую очередь.

С кормами в совхозе, как и раньше, в колхозное время, было туговато. Прошка-ветеринар каждую весну строчил акты об авитаминозе с летальным исходом (в Пекашине все знали эти мудреные слова), и вот те совхозники, у кого еще водились коровенки и овцы, добрую

половину своих приусадебных участков засеивали горохом, викой и овсом, а то и просто запускали под траву.

Целый месяц Михаил не был на своем пряслинском угоре (так ныне зовут угор против его нового дома) и как вышел к амбару да глянул перед собой – так и забыл про все на свете.

Волнами, пестрыми табунами ходит разнотравье по лугу (первый раз в жизни не видел, как одевалось подгорье зеленью), а за лугом поля, Пинега, играющая мелкой серебристой рябью, а за Пинегой прибрежный песок-желтяк, белые развалины монастыря, красная щелья и леса, леса – синие, бескрайние, до самого неба...

В Москве что только он не видел, куда только его не таскала Татьяна: и на выставку народного хозяйства, и в Кремль, и даже в Большой театр, куда и иностранцам-то не всегда ход есть, а нет, все не то, все ерунда по сравнению с этой вот доморощенной красотой, с этой ширью да с этими просторами.

И он снова и снова делал заход глазами, жадно ловил, вдыхал травяной ветер, а потом не выдержал и безрассудно, как молодой конь, со всех ног ринулся под угор. А под угором он отбросил в сторону топор и – хрен с вами, дивитесь, люди! – начал кататься по траве.

И еще одно мальчишество: не дорогой, не тропинкой пошел, а лугом, целиной – пускай потом косарь клянет все на свете. Шел, срывал на ходу борщовки, грыз их сладкие стебли и ногами, коленями переговаривался с разомлевшими на солнце травами...

Под пологом, возле сельповского склада, кто-то косил на лошадях – так и вспыхивала на солнце белая голова.

Это Михаила немало удивило. Почему на лошадях? Почему не на тракторе? Слава богу, хватает нынче железа в деревне. А кроме того, что за болван этот косильщик? Есть у него хоть одна извилина в башке? В самую жару на самое пекло вылез – неужели нельзя сообразить, что лошадям сейчас легче под горой, возле озерины? Нет, будь у него время, он бы не поленился – растолковал этому сукину сыну сенную политграмоту!

Травяное поле у Михаила было на старых капустниках, напротив его старого дома, и он еще издали увидел: хорошо уродился горох. Ни одной проплешины, ни одной прели.

Изгородь – от совхозных коней, – как он вскоре убедился, обойдя вокруг поле, тоже неплохо сохранилась. Нужно было заменить лишь кое-где подгнившие колья.

За делом, за работой, по которой он порядком истосковался в Москве, Михаил и не заметил, как подъехал косильщик. Увидел, когда тот его окликнул.

– Дядя Миша, задымить е?

– Какой я тебе, к дьяволу, дядя? Племянничек выискался!

Но черта с два смутишь Борьку! Сверкнул на солнце белыми жерновами – не рот, а целая мельница, вывернул:

– А чего? Сам же в позапрошлом годе сказал: зови дядей Мишей. Не помнишь, на Октябрьской супротив школы пьяный встретился?

Михаил не помнил. Но, может, и говорил. Находила на него иной раз блажь – комок к горлу подступал, когда встречал Егоршина отпрыска: вроде и ничего общего с отцом – коренастый, весь как веревка, как узловатая сосна, свит из мускулов, глаза круглые, рысьи, – но ему вдруг приходил на память Егорша, ихняя дружба-товарищество, и срывались, срывались с губ непрошенные слова.

Но это случалось с ним редко, только в пьяную минуту, а в обычное время он видеть не мог это отродье. Потому что как забыть? Не успел откочевать в том памятном пятидесятом году Егорша из района, как начала пухнуть Нюрка Яковлева, а потом – нате-получайте Бориса Егоровича, новоиспеченного братца Васи.

Борька подошел развалистой походочкой, с ухмылкой, закурил – как откажешь? – но когда, выпустив дым изо рта, чисто по-отцовски цыкнул слюной сквозь зубы, Михаил заорал как под ножом:

– Ты в городе вырос, что ли? Какого дьявола мучишь лошадей? Вишь ведь, они все в мыле!

Борька с показным интересом посмотрел на луг, пожал плечами – вроде как не понял, о чем речь, – и тогда Михаил уже совсем вышел из себя:

– Я говорю, есть, нет у тебя башка на плечах? Почему в такое пекло не от горы косишь? Не видал, как люди делают?

– Да будет тебе разоряться-то! Теперека не старые времена всем-то командовать.

– Что?

– Не демократия, говорю, колхозька, – без малейшей задержки выпалил Борька. Знал, гад, как отец, знал нужные слова и, как отец, умел сказать их к месту. – Есть у нас начальников-то. Немало. Деньги за это получают.

– А раз начальник не видит – делай что хочешь?

Борька примирительно ухмыльнулся:

– Да хватит, говорю, честных-то тружников калить. Этих одров, – он кивнул на блестящих на солнце, запаренных лошадей, – все равно осенью на колбасу погонят. Ты бы чем подрастающему поколению разгон давать, сестре своей приструнку дал.

– Это какую же приструнку? Насчет дома? – Михаил слышал от людей: подала Борькина мать заявление в сельсовет – требует своей доли в ставровском доме.

– А чего? Я сын родной, а какие ейные права? Она теперека сбоку припека...

У Михаила заходили глаза, запрыгали губы – какими бы поувесистее словами оглушить этого гаденыша, чтобы у него раз и навсегда отбить охоту заводить разговор насчет ставровского дома? И вдруг, глянув в сторону своего дома, увидел на угоре двух мужиков с вьющейся вокруг них, как белый мотылек, Анкой. Братья, братья приехали! Петр и Григорий...

И тогда все разом вылетело из головы: и ставровский дом, и изгородь, и Борька, – и он со всех ног бросился навстречу уже сбегавшим с утора своим дорогим двойнятам.

## Глава вторая

### 1

– Так, так, браташи! Собрались, значит, к брату-колхознику? Нет, ребята, теперь не к колхознику надо говорить. К совхознику. Кончилась колхозная жистянка... Долгонько, долгонько собирались. Когда в последний раз виделись? Семь лет назад, когда матерь хоронили? Так?

– Так.

– Да, – вздохнул Михаил, – не пришлось покойнице пожить в новом доме. – И вслед затем горделивым взглядом обвел горницу, или гостиную, как сказали бы в городе. Все новенькое, все блестит: сервант полированный с золотыми рифлеными скобками, полнехонький всякой посуды, диван с откидными подушками, тюлевые занавески на окнах, ковер с красными розами во всю стену – подарок Раисе от Татьяны... В общем, обстановочка – в городе не у каждого. И он подивился, покосившись на братьев. Пестрые застиранные ковбоекки, в каких у них на работу ходят, парусиновые туфельки... А насчет барахлишка и подавно говорить нечего. С рюкзачками, с котомочками заявились. Да у них сейчас в Пекашине самая распоследняя сопля без чемодана шагу не ступит!

– Давай, – Михаил поднял стопку, – со свиданьем! – И предупредил, с подмигом кивая на стол: – Это мы так покудова, для разминки, как говорится, а основное-то у нас вечером будет...

Петр выпил – всю, до дна стопку осушил, – а Григорий только виновато улыбнулся.

– Ну нет, так у нас не пойдет. Да ты откуда такой взялся? К старшему брату в гости приехал а ле в монастырь?

– Ему нельзя, – сказал Петр.

– Знаю. А у него у самого-то язык есть?

И опять ни слова, опять кроткая, виноватая улыбка обмыла льняное лицо Григория.

А в общем-то, с Григорием ясно. Все такой же двойняшка. Худущий, насквозь просвечивает. Просто святой какой-то, хоть на божницу ставь – вполне за икону сойдет.

А вот Петр... К Петру не знаешь как и подобраться, за что уцепиться. Как речной камень-голыш, который со всех сторон водой обточило. Или это все оттого, что бороду отпустил? Бородка аккуратненькая, с рыжим подпалом, как у царя Николашки, которого в семнадцатом году скovyрнули. Татьянин муж деньги старые собирает, так он, Михаил, насмотрелся на этого бывшего царя.

– Ты это бородой-то обзавелся, чтобы от брата отгородиться? – по-доброму пошутил Михаил. – Ну правильно. А то ведь, бывало, не то что чужие, я, родной брат, не каждый раз угадаю, кто из вас Петька, кто Гришка. Ей-богу!

– А я сразу угадала, который дядя Гриша, – сказала Анка.

– Как?

– Тетя Лиза сказывала.

Михаил не стал уточнять у дочери, что сказывала тетя Лиза. С него довольно и того, что произошло с братьями при одном упоминании имени сестры. Оба вдруг ожили, оба вдруг глазами в него. И было, было у него искушение – рубануть со всего плеча, ведь все равно придется говорить, но вместо этого он закричал на весь дом:

– Эй ты там! Уснула?

И тут с кухни наконец пожаловала Раиса, прямая, статная, и принарядилась – уважила гостей. Но голову от миски с мясом отвернула – видно, и в самом деле понесла.

Михаил, довольный, заржал.

– Предлагаю выпить за будущего солдата!

– За кого? За солдата? – переспросил Петр.

– Чуваки! У нас со старухой на эту пятилетку твердое задание – наследника!

– Не плети чего не надо! При ком язык-то распускаешь?

Михаил смущенно крикнул, поглядел на младшую дочь, пристроившуюся возле дяди Гриши, сразу, с первой минуты к нему присосалась, дал команду – на улицу.

Когда закрылась за Анкой дверь, притворно вздохнул:

– Вот так и живем, браташи. Совсем заездила супружница.

– Тебя заездишь! Ты в эту Москву слетал – совсем ошалел.

– Да, ребята, слетал. Повидал белый свет! – Михаил встал, принес из спальни увесистый альбом в дорогих бархатных корках, с золочеными буквами, трахнул по столу. – Вот мое пребывание в столице нашей родины. Татьяна тут все моменты зафотографировала.

Карточек было много. Михаил с сестрой, Михаил с зятем, Михаил со сватом, то есть со свекром Татьяны... Само собой, был увековечен Михаил в пестрой толпе и у ленинского Мавзолея с двумя замершими у дверей часовыми-гвардейцами, и возле знаменитых фонтанов на выставке, и возле царь-пушки.

– Да, ребята, золотой билет вытасила наша Татьяна. Я три недели у ей пожил – ну, скажу, в коммунизме побывал. Ей-богу. Без пивка да без водочки за стол не саживался. Дача двухэтажная, квартира пять комнат, машина, прислуга... Помните, как, бывало, Татьяна Ивановна зимой за хлев босиком бегала вместе с вами? А теперь – подай, поднеси. Да на блюдечке... В газетах-то читаете? «Высоких гостей на Внуковском аэродроме встречали товарищи... маршалы, а также деятели культуры и другие представители общественности столицы...» Ну дак в этих «других представителях» и наша Татьяна. Два раза при мне на этот Внуковский аэродром каталась. Со свекром.

– Со свекром? – удивилась Раиса. – Пошто со свекром-то? Разве мужика у ей нету?

Михаил насмешливо постучал кулаком по столу.

– Темнота пекашинская! Мужик-от у ей есть, и мужик – душа-человек, видела ведь, чего спрашиваешь? Да на этот аэродром не за душу пускают. Говорю, Борис Павлович, свекор ейный, шишка большая, всема каменными памятниками заправляет, а ему положено с супругой. Ну а он как человек вдовый Татьяну за собой волокет. Дошло теперь?

– Я не знаю, что за такой муж, – не унималась Раиса, – жену одну отпускает...

– Да не одну, с отцом! Чем слушаешь-то? Хороший старикан. Меня все кумом называл. «Ну как, кум, твердо решил: никуда не годится шампань?» Подшучивал, сам только шампанское примает. А у меня дак с этой шампани брюхо, ребята, пучит, пьешь-пьешь его – все без толку. Да я и клоповник этот, коньяк, не больно уважаю. Я пивко да водочку лучше всего. А муж у Татьяны, тот только шипучую водичку. Ни грамма спиртного. – Михаил покачал головой. – Вот человек для меня загадка! Не видали его? Хрен его знает, как вам сказать... Сказать чтобы больно умен, ума палата... Летом, видали, по деревням ездят-шныряют – прялки, ложки, тусса, всякое старье собирают? Дак он из тех самых старьевщиков... Иконы особенно уважает.

– И что он с этими иконами делает? – спросила Раиса. – Молится?

– Ну, он молится-то, положим, на другие иконы. Представляете, – Михаил игриво подмигнул братьям, – на каждой стене Татьяна. И в нарядах и без нарядов. По-всякому... В умывальнике, и в том Татьяна... На белом кафеле эдакая картиночка...

– Ну, хорошему, хорошему научит племянниц тетушка.

– А не возражаю. Хорошо бы хоть одна пошла в тетушку. Вера и Лариса у меня ведь в Москву уехали, – пояснил Михаил братьям. – Отец из Москвы, а дочери в Москву. Вот так ноне у Пряслиных.

Хоть какое бы впечатление! Хоть бы один вопрос! Как там Татьяна? Что? Девка, прямо скажем, на небо залезла. Гордиться такой сестрой надо, бога молить за нее. А брат ихний почти целый месяц в Москве выжил – это как? Тоже неинтересно?

Правда, с одной стороны, такое безмолвие близнят льстило ему. Года годами, образование образованием, а не забываясь, кто говорит. Брат-отец. А с другой стороны, где они сидят? На встречах или на бывалошном колхозном собрании, на котором районные уполномоченные выколачивают дополнительные налоги или заем? Да, там боялись рот раскрыть, потому что, что бы ты ни сказал – против, за, – все худо, за все взыск: либо от начальства, либо от своего брата-колхозника...

А-а, догадался вдруг Михаил, дак это вот что у них на уме... И больше уж не церемонился. Стиснул челюсти, процедил сквозь зубы:

– Сестры, о которой вы тут про себя вздыхаете, у меня больше нету. Скоро два года как к дому своему близко не подпускаю.

Григорий зажмурился – с детства от всех страхов закрытыми глазами спасался, – а у Петра будто лоб распахали – такими морщинами пошла кожа.

– Да разве вам она не писала? – спросил донельзя удивленный Михаил.

– Ну и ну, вот это терпенье, – по-бабьи запричитала Раиса. – Тут не то что люди – кусты-то все придивились.

– В общем, так. – Михаил налил водки в стакан с краями вровень, залпом выпил. – Вася потонул четырнадцатого октября, а пятнадцатого февраля – помирать стану, не забуду этот день: «Михаил, у тебя сестра с брюхом...» Понимаете?

– Беда, беда! – снова запричитала Раиса. – Как Пекашино на свете стоит, такого сраму не бывало. Кошка и та, когда котят порушат, сколько времени ходит, стонет, места прибрать не может, а тут одной рукой гроб с сыном в могилу опускаю, а другой за мужика имаюсь...

По худому, нездоровому лицу Григория текли слезы, Петр закаменел – только борода на щеках вздрагивает, – а на самого Михаила такая вдруг тоска навалилась, что хоть вой.

Застолье не ладилось. Сидели, молчали, как на похоронах. Будто и не братья родные после долгой разлуки встретились. И Раиса тоже в рот воды набрала. В другой раз треск – уши затыкай, а тут глаза округлила – столбняк нашел.

Наконец Михаила осенило:

– А знаете что? Дом-то мы новый еще ведь и не посмотрели! Ну и ну, ну и ну! Сидим, всякую муть разводим, а про само-то главное и позабыли.

## 2

Пекашино изрядно обновилось за последние годы. Домов новых наворотили за полсотню. Причем что удивительно! На зады, на пески, к болоту все качнулись: там вода рядом, там промышленность вся пекашинская – пилорама, мельница, машинный парк, мастерские. Смотришь, скорее что-нибудь перепадет. Ну а Михаил плюнул на все эти расчеты – на пустырь, на самый угор, против Петра Житова выпер.

Зимой, правда, когда снега да метели, до полудня иной раз откапываешься, да зато весной – красота. Пинега в разливе, белый монастырь за рекой, пароходы двинские, как лебеди, из-за мыса выплывают... А что это за праздник, когда птица перелетная через тебя валом валит! Домой уходить не хочется. Так бы, кажись, и стоял всю ночь с задранной кверху головой...

Григорий – чистый ребенок, – едва спустились с крыльца, ульнул глазами в скворешню – как раз в это время какой-то оживленный разговор у родителей начался: не то выясняли, как воспитывать детей, не то была какая-то семейная размолвка.

Благодушно настроенный Михаил не стал, однако, выговаривать брату – дескать, брось ты эту ерундовину, – он сам любил говорливых скворчишек, а только легонько похлопал того по плечу: потом, потом птички. Найдется кое-что и позанятнее их.

Осмотр дома начали с хозяйственных пристроек, а точнее сказать – с комбината бытового обслуживания. Все под одной крышей: погреб, мастерская, баня. Петр Житов такое придумал. От него – кто с руками – переняли.

В погребе задерживаться не стали – чего тут интересного? Только разве что стены еще свежие, не успели потемнеть, смолкой кое-где посверкивает, а все остальное – известно: кастрюли, ведра, кадки, капканы на деревянных крюках, сетки...

Другое дело – мастерская. Вот тут было на что посмотреть. Инструмента всякого – столярного, плотницкого, кузнечного – навалом. Одних стамесок целый взвод. Во фронт, навтыжку, как солдаты стальные, выстроились во всю переднюю стенку. Да и все остальное – долота, сверла, напарьи, фуганки, рубанки – все было в блеске.



Михаил любил инструмент. С ранних лет, как стал за хозяина, начал собирать. И в Москве, например, в какой магазин с Татьяной ни зайдут, первым делом: а где тут железо рабочее?

Петра заинтересовал старенький, с деревянной колодкой рубанок.

– Что, узнал?

– Да вроде знакомый.

– Вроде... Степана Андреяновича заведение. Тут много кое-чего от старика. Ладно, – Михаил пренебрежительно махнул рукой, – все эти рубанки-фуганки ерунда. Сейчас этим не удивишь. А вот я вам одну штуковину покажу – это да!

Он взял со столярного верстака увесистую ржавую железяку с отверстием, покачал на ладони.

– Ну-ко давай, инженера. Что это за зверь? По вашей части.

Петр снисходительно пожал плечами: чего, мол, морочить голову? Металлом! И Григорий в ту же дуду.

– Эх вы, чуваки, чуваки!.. Металлом. Да этот металлом – всю Пинегу перерыть – днем с огнем не сыщешь. Топор. Первостатейный. Литой, не кованый. Вот какой это металлом. Одна тысяча девятьсот шестого года рождения. Смотрите, клеймо квадратное и двуглавый орел. При царе при Николашке делан. А заточен-то как – видите? С одной стороны. Как стамеска. Вот погодите, топорщице сделаю да ржавчину отдеру – вся деревня ко мне посыплет. А в руки-то он как ко мне попал, знаете? Охо-хо! У Татьяниной приятельницы подобрал. Орехи грецкие колотит. Это на таком-то золоте!

Тут Михаил на всякий случай выглянул за двери, нет ли поблизости жены, и заулюлюкал:

– Ну, я вам скажу, популярность у Пряслина в столице была! У Иосифа да у Татьяны друзья все художники, скульптора... Ну, которые статуи делают. И вот все: я хочу нарисовать, я хочу человека труда, рабочего да колхозника, чтобы по самому высокому разряду... А одна лахудра, – Михаил захохотал во всю свою зубастую пасть, – на ногу мою обзарила. Ей-богу! Вот надоть ей моя нога, да и все. Ступня, лапа по-нашему, какой-то там подъем-взъем. Дескать, всю жизнь такую ногу ищу, не могу найти. Понимаете? «Да сходи ты к ей, – говорит Татьяна, – она ведь теперь спать не будет из-за твоей ноги. Все они чокнутые...» Ладно, поехали в один распрекрасный день. Хрен с вами, все равно делать нечего. Татьяна повезла в своей машинке. Заходим – тоже мастерская называется: статуев этих – навалом. Головы, груди бабьи, шкилет... Это у их первое дело – шкилет, ну как болванка вроде, чтобы сверху делать, когда кого лепишь. Ладно. Попили кофею, коньячку выпили – вкусно, шкилет тебе из угла своими зубками белыми улыбается... Татьяна на уход, а мы за дело. Я туфлю это сымаю, ногу достаю, раз она без ей жить не может, штанину до колена закатываю, а она: нет, нет, пожалуйста, чистую натуру. Как чистую? Да я разве грязный? Кажинный день три раза купаюсь на даче у Татьяны, под душем брызгаюсь – куда еще чище? А оказывается, чистая натура – это сымай штаны да рубаху...

Михаил вовремя остановился, потому что разве с его двойнятами про такие вещи говорить? Хрен знает что за народ! За тридцать давно перевалило, а чуть начни немного про эту самую «чистую натуру» – и глаза на сторону...

В баню заходить не стали. Баню без веника разве оценишь? И в дровяник не заглядывали – тут техника недалеко шагнула: все тот же колун с расшлепанным обухом да чурбан сосновый, сук на суку.

Прошли прямо к въездным воротам.

Михаил уж сколько раз сегодня проходил мимо этих ворот, а вот подошел к ним сейчас, и опять душа на небе.

Чудо-ворота! Широкие, на два створа – на любой машине въезжай, столбы на века – из лиственницы, и цвет красный. Как Первомай, как Октябрьская революция. И вот все, кто ни едет, кто ни идет – чужие, свои, пекашинцы, – все пялят глаза. Останавливаются. Потому что нет таких ворот ни у кого по всей Пинеге. И Раиса, которая букой смотрела, когда он их ставил («На что время тратишь?»), теперь прикусила язык.

– А в музыку-то мою поиграли? – Михаил с силой брякнул кованым кольцом у калитки сбоку и на какое-то мгновение блаженно закрыл глаза: такой гремучий, такой чистый звон раскатился вокруг.

– Это чтобы без доклада не входить. В городе в звонок звонят, а мы – хуже?

В это время еще одно кольцо забренькало – у соседей. Калина Иванович из дому вышел – с котомкой, с черным, продымленным чайником, а следом за ним – сама.

– Знаете, нет, кто это? – быстрым шепотом спросил Михаил у братьев. – Не знаете? Да это же Калина Иванович! Дунаев!

– Дунаев? Тот самый Дунаев?

– Да, да, тот самый!

– Это о котором статья-то нынешней зимой в «Правде Севера» была? – Петр все еще не мог поверить, чтобы такая знаменитость у брата под самым под боком жила.

– Статья!.. Одна, что ли, о нем статья была? Шутите: комиссар гражданской войны! Самого Ленина видал...

Котомка была явно не по старику – его качнуло, обнесло, и Михаил задорно крикнул Евдокии, обхватившей мужа:

– Держи, держи крепче! Чего ворон считаешь?

– Замолчи, к лешакам! Без тебя тошно.

– Видали, видали, какой голосок! Зря, думаете, Дунька-угар прозвали.

Михаил потащил братьев на соседнее подворье. Прямо через воротца в старой изгороди.

С Евдокией – просто. Что ни ляпнул, что ни брякнул, и ладно. Все прошла, все вызнала, где ни бывала, кого и чего ни видала – ничего не пристало, ничего не прилипло. Как была баба деревенская, такой и осталась. Даже одежду и ту на деревенский пошиб носила: сарафан, какой сейчас и на самой старорежимной старушонке не всегда увидишь, пояс узорчатый, домашнего плетенья, безрукава...

Зато уж с Калиной Ивановичем будь на чеку. Вроде бы старичонко, сушина наскрозь просушенная, вроде бы ветошь, как все в его возрасте, да вдруг так сказанет, такую породу выкажет – сразу по стойке «смирно» уши поставишь, И сейчас, когда Михаил все стариковские ранги братьям назвал, ему особенно хотелось показать, что он на равных с Калиной Ивановичем.

– Куда это наострил лыжи? – с ходу закричал он старику. – Не на Марьюшу?

– Да, имею такое намеренье.

– Погодь до завтра. Праздник сегодня. Посидели бы вечерком, у меня братья приехали.

Тут Калина Иванович полез за очками – худо видел, а охоч был до свежих людей.

Очки у Калины Ивановича были дешевенькие, железные, с ниточной окруткой над переносьем, но когда он их надел, сразу другой вид стал. Важность какая-то вроде появилась.

– Очень приятно, очень приятно, молодые люди. – И за руку с обоими.

– А раз приятно, дак оставайся до утра, – опять начал урезонивать старика Михаил. – Завтра вместе поедем.

Калина Иванович не очень решительно поглядел на жену.

У той фарами запылились синие глаза.

– Не поглядывай, не поглядывай! Какие нам праздники? Мы из Москвы чемоданами добро не возим.

– Во, во дает! – рассмеялся Михаил и подмигнул братьям.

– Не скаль, не скаль зубы-то! Вишь ведь разъехался! – Евдокия кивнула на усадьбу Михаила. – Не боишься, как раскулачат?

– Не раскулачат, – ловко, без всякой натуги отшутился Михаил. – Сейчас не старые времена – бедность не в почете. На изобилие курс взял. Я в Москве был – знаешь, как там живут? У нашей Татьяны, к примеру, в хозяйстве сто сорок голов лошадиное стадо.

– Плети! С коих это пор в городах лошадей стали разводить?

– Чего плети-то! Две машины – одна у свекра, другая у ей с мужем. Каждая по семьдесят кобыл. Считай, сколько будет.

Больше Евдокия не слушала. Стащила с мужа котомку, взяла у него из рук чайник, косу, обернутую в мешковину, и на дорогу – сажеными шагами работающей крестьянки.

Калина Иванович еще хорохорился: дескать, надеюсь, молодые люди, увидимся, потолкуем, – а старыми-то руками уже шарил по стене возле крыльца – своего помощника искал.

Михаил подал старику легкий осиновый батожок – тот на сей раз стоял за кадкой с водой – и, провожая его задумчивым взглядом, сказал:

– Вот такая-то, ребята, жистянка. Сегодня мы верхом на ей, а завтра она на нас. Н-да...

#### 4

Лыско развалился посреди заулка, или двора, как теперь больше говорят: ничего не вижу, ничего не слышу. Хоть все понесите из дому. И клочья лисялой шерсти по всему заулку. Вот пошла собака! И надо бы, надо проучить подлюгу, двинуть разок как следует – не забывайся, да Михаил и так чувствовал себя виноватым перед псом: давеча в сарае налетел – расплачивайся пес за то, что хозяин с бабой совладать не может.

– Ну что будем делать-то? Снова за стол але экскурсию продолжим?

На Григория он не взглянул – давно понял, в чьих руках завод, но и Петр – где его предложенья?

– А не принять ли нам, ребята, душ изнутри, а? Шагайте в мастерскую, я моменталом.

Михаил сбегал на погреб, принес две холодненькие, запотелые бутылки московского пивка – специально для Калины Ивановича берег, – разлил по стаканам.

Его дрожь сладкая пробрала, едва обмочил пересохшие губы в холодной резвой пене, а как Петр и Григорий? А Петр и Григорий, ему показалось, и не заметили, что пиво московское пьют.

– У меня это заведенье хитрое, ребята, – Он обвел хмельным глазом мастерскую, – Когда работаю, когда процедуры принимаю. Неясно выражаюсь? Чуваки! Население-то у меня какое? Женское. Ну и насчет там всякого матерхата не больно разойдешься. А здесь

тстены крепкие, кати – выдержат.

Михаил от души рассмеялся – ловко закрутил – и вдруг полез за койку, вытащил оттуда полено, плашку березовую.

– Ну-ко скажите – в институтах учились, – с чем это едят-кушают? Почему хозяин его бережет? Эх вы, инженера! Спальное полено. И это непонятно? А дом-то я как строил – вы подумали? Людей брал только на окладное да на верхние венцы, а тут все сам. Капиталов-то,

сами знаете, у меня – не у Ротшильда. Да еще колхозная работа целый день. И вот по утрам топориком махал, до работы. А чтобы не проспать, полешко под голову. Так новый-то дом мы строили... Так...

Петр и Григорий на этот раз сделали одолжение – раздвинули губы. Но только губы. А где глаза? Видят они его своими глазами?

Не хотелось бы, вот так не хотелось бы вправлять мозги гостям, тем более в первый день, а с другой стороны, что это такое? Побасенки он им рассказывает?

– Между прочим, – начал чеканить Михаил и вдруг с остервенением сплюнул: двадцать лет нет Егорши в Пекашине, а ему все еще отпрыгивается это его дурацкое слово, да и многие другие, замечал он, выговаривают его, как Егорша.

В заулке лениво рявкнул пес — не иначе как Раиса пинком угостила. Точно: послышался плеск воды, ведро грязное опрокинула в помойку.

– Ладно, идите. Все равно с вами каши не сварить, раз у вас в башке дорогая сестрица засела. Да у меня к восьми как из пушки.

Понятно?

...

### Часть третья

### Глава восьмая

#### 1

О доме не говорили ни за обедом, ни за ужином. Вспоминали Федора, толковали про нового управляющего, про погоду, а о доме ни слова, хотя он гвоздем сидел у каждого в голове.

На Лизу в эти дни больно было смотреть. Она почернела, погасла глазами, потому что во всем винила себя. И как ей было помочь, чем утихомирить ее взбудораженную совесть?

Однажды утром Петр сказал:

– Ты не будешь возражать, сестра, если я на наши хоромы ставровского коня поставлю?

– Коня с татинного дома? На наш?

– А почему бы нет? Видел я вчера, валяется конь на земле – не увез Баландин.

У Лизы во все лицо разлились зеленые глаза, а потом она вдруг расплакалась:

– Ох, Петя, Петя, да я не знаю что бы дала, чтобы татин конь у нас на дому был! Все бы память о человеке на земле, верно?

– Будет конь! – сказал Петр и тотчас же пошел договариваться насчет машины.

«МАЗ» с прицепом в совхозе был на ходу – братья Яковлевы перевозили с верхнего конца в нижний свой дом, – и в полдень ставровский тяжеленный охлупень с конем ввезли к Пряслиным в заулоч.

Лиза в это время была дома и босиком выбежала на улицу. Выбежала, подбежала к коню и давай его кропить слезами.

– Ну ты и дура же, Лизка! – покачал головой Иван Яковлев. – Сколько живу на свете, не видывал, чтобы дрова со слезами обнимали.

Но что понимал в этих дровах Иван Яковлев! Ведь не просто деревянного коня сейчас ввезли к ним в заулоч. Степан Андреевич, вся прошлая жизнь въехала с конем на их подворье.

Что такое человек? Что мы за люди?

Убивалась, умирала все эти дни Лиза, ночами давилась от слез а вот привезли коня – и вновь воскресла, вновь ожила. Как веточка на которую брызнуло дождиком, зазеленела. И Петр, провожая ее глазами с высоты своей стройки, дивился тому, как она бежала по мосткам через болото. Бежала своим легким, бегучим шагом, как бы играючи, и головной платок белыми искрами вспыхивал на солнце. И он представил себе, с каким рвением, с каким неистовством она приметя сейчас за работу. Все переделает, все зальет своей радостью: и телятник и телят.

А что же с ним происходит? Почему у него перестал в руках бегать топор?

По горизонту синими увалами растекались родные пинежские леса. И там, за этими лесами, была новая хмельная жизнь, о которой он так много мечтал: Григорий одумался, сам на днях сказал, что с сестрой остается. Так почему же он не радуется? Почему все эти дни он смотрит не туда, не в синие неоглядные дали, а вниз, на тесный заулок, где возле крыльца на желтом песочке играет с детишками Григорий?

Он был в полной растерянности. Он был подавлен.

Сколько лет назад наяву и во сне бредил он свободой, жизнью без брата, а вот пришел долгожданный час, сбросил с себя хомут – и тоскливо и муторно стало на сердце.

Бабье лето выложилось в этот день сполна. На дому было жарко от солнца, ребятишки на улице бегали босиком. А в навинах, на мызах что делалось? Красные осины, березы желтые, журавли трубят хором. И праздник был под горой, на зеленых лугах, на Пинеге, играющей на солнце.

Петр слез с дома. Через пять дней кончается отпуск – так неужели хоть раз за два месяца не пройтись без дела по деревне, не послушать Синельгу, не побывать у реки?

Приусадебные участки по задворью цвели платками и платьями – бабы копали картошку, – и сладким дымком, печеной картошкой тянуло оттуда. Совсем как в далекие годы детства.

И Петр, с удовольствием вдыхая этот дымок, прошел по деревне до самого верхнего конца, до обветшалого домика Варвары Иняхиной, с которой столько было связано у них, у Пряслиных, переживаний и передраг, затем спустился к Синельге, побывал на мызах в поскотине, вышел к Пинеге. И вот какое у него прошлое – ни единого самостоятельного воспоминания. Все пополам с братом.

Нагнулся, стал пригоршней пить воду в Синельге – вспомнил, как они, бывало, с Григорием опивались этой водой, специально бегали сюда, потому что старший брат как-то пошутил: «Пейте больше воды в Синельге – силачами вырастете». А уж им ли не хотелось вырасти силачами! Вспомнил, как провожал по утрам Звездоню в поскотину, – брат рядом встал. Сорвал бурую запоздалую малинину в угоре на мызе – опять брат. И так везде, на каждом шагу у каждой лесины, у каждой кочки. Даже когда ребятишки-удильщики попались на глаза у реки, не одного себя вспомнил, а вместе с Григорием.

Вдоль Пинеге, через густой задичавший ивняк, под которым чернела Дунина яма, мимо бывших леспромхозовских, а ныне сельповских складов Петр прошел под родное печище, спустился на берег, усыпанный цветной галькой, попробовал рукой воду.

Вода была теплая, летняя, но по-осеннему чистая и прозрачная, и когда прошла рябь, он долго всматривался в свое бородатое лицо с морщинистым широким лбом.

Все началось с Тани, с веселой черноглазой медсестры, с которой он познакомился в те дни, когда Григорий лежал в больнице. И вот надо же так случиться! Григорий возвращается из больницы, к своему дому подходит, а навстречу Таня. Увидела Григория, всплеснула руками: «Что, что с тобой, Петя? На тебе лица нет». И со слезами бросилась на шею ошеломленному брату.

В эту самую минуту, на двадцать восьмом году жизни Петр понял, что он всего лишь двойник, тень своего брата. Понял и решил: отгородиться от брата, стену возвести между собой и братом.

Восемь лет возводил он стену. Восемь лет сушил, замораживал себя, восемь лет парился под бородой, вытраивал из себя бесхитростную открытость и простодушие, чтобы только не походить на брата. А чего достиг? Лучше, счастливее стал?

Нет, нет! Самые счастливые, самые богатые годы у него в жизни те, когда он душа в душу жил с братом, когда оба они составляли единое целое, когда на все смотрели одними глазами, одинаково думали и когда, как говаривала Лиза, им снились одни и те же сны.

Ошеломленный этим открытием, Петр поднялся в крутой, глиняный, сплошь источенный ласточками берег и долго лежал обессиленно на зеленом закрайке поля.

#### 4

– Ну как поживаем, брат?

Он спросил это с таким участием, с такой заинтересованностью и задушевностью, словно давным-давно не видел Григория. Да это и на самом деле было так. Жили под одной крышей, сидели за одним столом, каждый день с утра до вечера мозолили друг другу глаза, но разве видел он брата?

Святые, непорочные глаза Григория не дрогнули от удивления – он знал, с чем пришел брат, – и все же счастливая улыбка, легкая краска разлилась по его льняному бескровному лицу.

У Петра перехватило дыхание. Он схватил на руки перепуганного, перепачканного в песке племянника, закричал:

– Дери дядю за бороду, пока не поздно!

Через полчаса борода пала.

Лицо стало непривычно голое, легкое, и память перенесла его к тем дням, когда старший брат, возвращаясь весной с лесозаготовок, в первый же день спускал с них, малоросии, отросшую за зиму волосню.

Улыбаясь какой-то новой, давно забытой улыбкой, Петр вышел на крыльцо и столкнулся с возвращающейся с телятника сестрой.

Лиза ахнула:

– Ну, Петя, Петя!.. Вот теперь и я нисколешенько тебя не боюсь.

– А раньше боялась?

– Да больно-то, может, и не боялась, а все не прежний, все какой-то не такой.

Да, он вернулся к тому, от чего отрекся и отгораживался столько лет. Вернулся к брату, к жизни, к себе.

© Абрамов Ф.А., правообладатели

Источник публикации: Дом : роман // Новый мир.— 1978.— № 12.— С. 3-164.